

КОРОНА МАН

ЖЛЪЯ НАГОРНОВ



Илья Нагорнов

Морок

«Издательские решения»

Нагорнов И.

Морок / И. Нагорнов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-746954-2

Невзор Путимиров — работник ритуальной службы. Для него мир прост и интересен: в озерах и офисах водятся русалки, вокруг — все до единого волхвы... Сны Невзора перемешались с явью, и однажды Невзор находит на чердаке старую рукопись. Дневник поэта-чекиста, творившего революцию в 20-х, покончившего с собой при странных обстоятельствах. Невзор становится одержимым этой рукописью. Он решает «оживить» поэта и понимает, что это может привести к гибели... Роман вошел в лонг-лист премии «Дебют».

ISBN 978-5-44-746954-2

© Нагорнов И.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Гнев	6
1	13
Глава 2. Гордыня	16
2	19
3	23
4	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Морок

Илья Нагорнов

Ничего больше не будет.

Рожай сына.

Юрий Олеша «Зависть»

© Илья Нагорнов, 2016

© Илья Нагорнов, дизайн обложки, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Гнев

[Морок – божок с Волжских болот. Дух иллюзий и сна, покровитель маринованных помидоров, хранитель неожиданной правды и двух бочек с тайным содержимым. Мы любим Морока, а он нас, кажется, нет.]

Будто с холста Мунка – мост. Шагаю по асфальтобетонной бесконечности. Словно не мост это, а пирс, уходящий далеко в море. Податливая, что-то напоминающая тьма на той стороне реки выдавит из себя столько бетона и асфальта, столько перил и столбов с проводами, сколько требует замысел одурачить меня. Но эта ночь – тайна отгаданная. Дура. Темнота отверстия в сельском нужнике – и та замысловатей.

Как вы говорите, мистер Набоков, колыбель над бездной? Очень может быть.

Русла встречных трассеров, красных и белых, делят мост надвое. Белые – в меня, от меня – красные. Не мост, а русская революция. Внизу, за мельканием пыльных перил, под нитями машин и бетоном, дрожащим и горячим, как в лихорадке, – иной поток: Ока – студень, который растает к утру, – чёрная, густая и на вид липкая. Как только рыбы не вымерли со страху и брезгливости, плавая в ночной реке?

Рыбы, доложу вам, страх как брезгливы. Бесстрастные эти гурманы тщательно избирают, что на ужин, кушая лишь утопленников, бывших людьми хорошими. Хорошие, по мнению карпов и уклеек, – те, у коих не бывало алиментных долгов и больше двух любовниц одновременно, а также – главное – не водилось тяги к рыбалке. И ещё те, кто при жизни не имели отношения к руководству завода, сливающего в реку безбожные тонны вязкого, неудобоваримого дерьмеца. До смертных же людских грехов и страстей карпам интереса нет, в конце концов, это не их дело. К тому же, из реки видно: на берегу у моста – церковь, кстати, Карповская; там-то, напрасно думают рыбёхи, грехи утопленников давно искуплены.

Но всяких там бывших спинингистов, поплавочников, мормышечников рыбы на дух не переносят и не едят никогда. Потому-то бедолаги эти и всплывают, нетронутые, печальными белыми островками, выпячивая, будто старые сумоисты, рыхлые свои животы, неестественно раскинув пухлые руки.

Под мостом темень, предо мной – непроглядь.

Кажется, в сей час вода бурлит жизнью разномастных тех утопленников, мельканием русалочьих хвостов и шевелением прочей нечисти – аж вода пенится. Но, отбросив лишнюю фантазию, которая, дай волю, доведёт до греха, скажу, что там действительно происходит. Трупы бездейственно и неинтересно пухнут, потихоньку разлагаясь в прибрежной осоке, а русалок – тех совсем нет: близ больших городов их не встретишь. В области, на той же Оке, в Волге, на реке Пьяна – эта петляет по земле, словно бредущая к дому загульная баба, по озёрам и топям, на речках-капиллярах нашего края – вот там да, в покойных тех местах водятся они, водяницы. Лоскоталки, реже криницы.

К слову сказать, любая девушка легко может стать криницей, если очень одолеваема будет желанием. Достаточно в нужное время утопнуть. По весне, как вскроются реки, не проследить – позволить бурной воде цвета разбавленного молоком кофе поглотить себя, отдаться

и довериться ретивому потоку, как младому мужу – вот, что требуется. Да потерпеть немножко. Терпения хватит, так увидишь, как жизнь девичья спокойствием разливается: из тела выходит, как та самая бурная река из берегов – по полям да лугам, на волю. Душа, свободу заполучив, уж не отдаст никогда.

Скромные да пугливые, как маленькие птицы, живут русалки тихо, не высовываясь: люди – неприятные для встреч существа.

«Откуда знаешь о водяницах?» – спросите, воровато озираясь. «Скоро поймёте», – отвечу с неохотой, как человек проболтавшийся, но спохватившийся вовремя.

Очень вы много хотите от незнакомца.

*

Фамилия моя Путимиров. От весны, в которую меня, три семьсот, родила горемычная моя мамуля, до нынешнего лета скромно мелькнули ситцевыми юбочками ещё двадцать две весны. Яриловы те невесты мелькали то под нервную скрипку, то под разудалую гармонию. Но чаще в тишине, заставляя прислушиваться к капельному ксилофону.

«Дзинь-дзинь, хлюп-хлюп, чмок-чмок, вот и прошёл ещё один твой год, Неврик, милый мой мальчик без вредных привычек и понятия о том, как жить нужно», – год от года горячо шептала в ухо жизнь. Озорная девица. Гибкая в талии, будто она из пластилина. Пластичность ту догадаться бы использовать, пока не затвердело.

И сам знаю: важно, иметь концепцию бытия очень важно, потому как без ориентиров и планов – не жизнь, а баловство. Ну самый бы примитивный проектик! Но не дал Бог индивидуального, а чужие не прижились. Вот оттого впереди меня и не светит, говоря образно, ни одного маяка. Ни одного приаптечного фонаря, источающего сладкий свет мечты своими медовыми огнями. Ой, ничего! Решительно ничего не вижу.

Отца я не знаю. В старом альбоме есть снимок: он и мама, ещё до меня. Неприятно звучит «до меня», но такое время, кажется, было: слишком много тому свидетелей. Отец на фото широкоплечий, красивый и двадцатидвухлетний, как Маяковский. Однако, в детстве, подолгу рассматривая фото, тёплых чувств я на его счёт не имел. Видел хитрую улыбку, фальшивую, на мой взгляд, радость, безобразно оттопыренный карман клетчатой рубашки без рукавов и плохо прикрытое желание бросить маму.

Мама была наивной, восторженной девочкой, и в семнадцать и в тридцать. Она, закатывая небесные глаза к различным потолкам многочисленных наших жилищ (мы много переезжали) часто повторяла, что именно отец нарёк меня именем – самоотверженный воспитатель, не правда ли? Малый с фантазией и юмором, надо отметить. Звучит, нечего спорить. Невзор Путимиров – так меня зовут.

Мама также упоминала, что, сразу после того, как выбрал мне имя, родитель пропал без вестей и писем – говорила, впрочем, без злости. Она его, наверно, любила. Уж не знаю, насколько он к тому причастен.

Правильно, по прошествии лет можно бы пересмотреть отношение к отцу и фотографии. Но вспомните, что детская ненависть самая лютая. Попробуй, подойди к нам человек, давным-давно попавший в орбиту детской ненависти, пусть даже обаятельный, как чёрт, с улыбкой яркой, зубами, как снег, и хризантемами в обоих потных кулаках – с холодком его встре-

тим, если будем себе верны. А ненависть к родителю, если любви не случилось, – совсем без границ. Это всё к тому, почему я отчества не помню.

Мама тоже была рядом недолго: на восьмом году моей жизни слегла от какой-то женской (не знаю латыни) болезни, и скончалась скоростижно на Ильин день.

То лето решило быть хрустяще-сухим и горестно-душистым, как цветки зверобоя на деревенских сушилах: дождей не случилось совсем. Не случилось и слёз на щеках моих во время похорон матери.

Помню, как опускали её в могилку. Зарывали. Сначала горстями с ладоней, потом большими чёрными комьями с нехорошо блестящих лопат – обычно, в общем, зарывали, но мальцу-то, мальцу семи лет, обычно ли?! «Маму закапывают», – постыдно легко думалось мне. Она лежала там – я знал – вон в том, адски-смешном розовом ящике.

Мальчик стоял, растопырив глаза, сжав зубы, будто боролся с тошнотой; во рту под языком быстро накапливалась жиденькая, отвратная слюнка, и мальчик боялся, что она вдруг выплеснет на подбородок и ниже, на рубашку, которую мама купила незадолго до смерти, ему к первому сентября. Бескрайняя жуть вязкой смолой пропитывала маленькое сердце, ставшее в миг податливым для боли и пористым, как банная губка.

Люди же медленно отползали от могилы, как дождевые черви, будто боясь разбудить кого-то страшного и карающего за грехи. Того, кто, опомнившись, мог похоронить не только маму, но и всех провожающих – фальшивых друзей. Откуда взялись только... Друзья и подруги?! При жизни маминой, где были вы?

Потом все оглянулись. Как не оглянуться: ребёнок, оставшийся наедине с бурым горбом свежей могилы, закричал – неприлично громко для кладбища. Противно гаркнув, слетели с соседних могил птицы, клевавшие хлеб и куриные яйца. Воронье, точно хлопья сажи от костра, поднялись на ветки кривых кладбищенских деревьев.

Кто-то высокий подошёл к ребёнку быстро, очень громко топчя землю, в которой лежала его мамуля, и сказал: «Пойдём, сынок, нехорошо кричать-то».

Как?! Что сказали? Мальчик не верил... Я, я не верил ушам, не мог осознать, безболезненно уложить в уме, как Бог, страж детской справедливости, позволил этому человеку сказать такое. «Нехорошо»?! Как мог Он не убить говорящего на месте!? Не понимаю и поныне! Голова моя, казалось, гулко звенела, как перекаченный мяч, набрякла от упругого крика, заболели уши. Я схватил «мяч» руками, поднял глаза, увидел отца и полетел куда-то вниз, цепко поймав родителя взглядом – на память.

Не знаю, откуда он взялся. Отец стоял передо мной такой же, что и на фото, только теперь некогда бодрые абрикосовые его щёки, чуть сморщившись, опустились ближе к подбородку. От шикарных замшевых ноздрей вниз шли две крупные борозды и, огибая рот, они терялись где-то в щетине. Будто то были волны от бороздящего океан крупного отцовского носа-фрегата. И карманы... Карманы теперь не оттопыривались на груди, потому что он был в футболке. Дико жёлтая такая футболка, с черной кляксой на груди. Про Маяковского я тогда ничего не знал, чтобы сравнивать. Да и при чем тут, в конце концов, Маяковский?

Через неделю отец снова исчез. И вот, спустя годы задаю вопрос: может такой человек никогда не существовал вовсе, может, я придумал его?

*

Достался сирота на воспитание бабке – сухой старушонке с протезом правого глаза – не родной, но такой тёплой и добродушной, какими у родных бабушек быть не получается. Сгорбившаяся к концу жизни так, что в профиль представляла собой почти замкнутый калач, она говорила мягко, как ходит кошка. Гладила меня, маленького, нежно по голове сухой рукой с синими нитями вен.

Когда я вырос до нынешней высоты и стал перемещаться по дому тихо и внаклон, как смиренный богомолец, уберегая лоб от низких косяков старого дома, бабка тянула руку, как отличница на уроке, и просила меня наклониться. Гладила по упрямому моим вихрам. Нежно, как мама. Милая, седенькая, не роптавшая на жизнь евреечка. Померла в прошлом году: рак, кажется. Не плакал. Может и заплачу отчего – жизнь длинная.

*

Работаю в дышащем на ладан ателье ритуальных услуг «Калинов мост», что недалеко от Среднего рынка. Делаю венки на заказ. Прилаживаю к искусственным ёлочки чёрные ленты: «от родителей», «от друзей», «от братвы» (как в том анекдоте: «от чего умирают люди? – А вы на венках почитайте»), а однажды многозначную: «от Оли, прости меня, Коля».

Работа, в целом, неплохая. Иногда кормят кутьёй, а для меня это самое лучшее. По трудовому контракту сотрудников ателье хоронят бесплатно, так что за будущее не тревожно. О работе либо хорошо либо ничего, верно?

Хорошо: размеренный труд в атмосфере тишины и особой торжественности. И коллеги соответствуют – тихие, молчаливые пенсионеры, трухлявенькие берёзовые пни с чагами-бородавками. Даже не ворчат про то, что жизнь вокруг не та, что прежде, о том «когда же о людях думать начнут, суки эдакие», не услышишь и про болезни. Разговоры о Шолохове, Марксе и Маркесе, о смерти Моцарта, про русскую идею и безыдейность таджиков (неправда это, идей у таджиков пруд пруди), про непунктуальность автобуса шестьдесят четвёртого маршрута (это да). Редкие экземпляры, философский пароход современности, а не ветераны никому неинтересного теперь, советского труда. Спокойные, укрытые пледом памяти старики с лицами цвета их драповых пальто. Не подумайте дурного, коллег я уважаю очень. Мне до них семь вёрст говном плыть.

Правда, есть проблема, не без того.

Владелец бюро, Домовинов Велимир, стал вдруг недоволен скоростью моего производства. Он мне сам сказал недавно. Подошёл, значит, и тихо выпустил словесного воробышку, даже усы не шевельнулись – любит, чтобы к нему прислушивались, на голос не берёт. Я, дурак, взялся оправдываться: так, мол и так, «работаю на пределе сил», а кроме прочего обронил неправильное слово. Свысока как-то вышло.

«Коли мы с вами, Велимир Ионович, – говорю, – коли уж взялись отправлять усопших в вечность, так давайте учиться не жалеть времени».

Ляпнул, не подумавши. Но Велимир Ионович промолчал. Надо отметить его выдержку: не орал, крышкой гроба не бил и по мрамору не возил рожей. Посмотрел лишь на ладный мой венок и пошёл. В отдел кадров, думается. А куда ещё, если вверх по лестнице? Каблуки его тяжёлые «тук-тук», «тук-тук». На площадке меж этажами Велимир Ионович, местный зубр ритуальных услуг и внучатый племянш старика Харона, крикнул, будто с сердцем чего – пенсионеры наши аж напряглись – и снова «тук-тук», «тук-тук».

*

Вечерами гуляю по мосту. С берега на берег и обратно. Если вы поздно возвращаетесь домой на машине, могли меня видеть, выкидывая, например, окурок в окно: куртка с капюшоном и зонт на случай дождя, на ногах – чаще ботинки, реже – сапоги из жёлтой резины. Мудаков по мосту ночами ходит мало, так что это точно я был.

Ночью, после прогулок, когда вдосталь наговорюсь с ночным городом, я пишу. Стучу по гальке клавиш об одном из сотен неизвестных поэтов Серебряного века. Город десятка крепких купцов и тысяч вечных подмастерьев, Нижний Новгород, в чёрно-белое то время броневиков и красных повязок надёжно прописал в вечности лишь одного из своих пасынков (позднее назвавшись его неприятным на вкус именем) – прочих оставил в холодной, неудобной безвестности, с одной лишь регистрацией. А их было достаточно, прочих-то.

Вспоминаю я самого выдающегося и яркого из всей литературной братии красного Поволжья, ну просто ярче звезды полярной и более выдающийся, чем Михалков Никита. Вру, конечно. Никчёмный он был, неизвестный, очень пьющий, развратный и сомнительно, что поэт. Вряд ли слышали. Мирон Мороков. Не знаком? Ну вот видите. «МирМор» – подписывал он редкие, печатавшиеся в местных газетах стишки и статьи сомнительного содержания.

Валя, Валя, Валентина,
Ты почто со мной крутила?
Мне ты честно ли давала?
Или чтоб не пропадало...

Вот это его, простите великодушно. Ну куда годно? Но, справедливости ради, там иначе никто не писал. Революция, как говорить, на земле и в небесах.

Так для чего я занимаюсь этим бесполезным и не предвещающим дохода делом? Справедливый вопрос.

*

Старый наш дом, кивающий крышей в сторону Волги, трухлявый и серый, присосший грибом-чагой к Почтовому съезду. Там и нашёл я кое-что на чердаке. Тонюсенькая тетрадь в негибком рыжем переплёте. Беспреданно чихая, откопал её из-под пыльных прялок веретён и сгнивших черенков лопат, когда ребёнком лазал, где не надо, тревожил пауков в загадочном мире под крышей. Червонцы, кажется, искал царские. А нашёл чужую жизнь, лёгшую не в архив, а в пыль чердака. Про червонцы подумал: бабка перепрятала. В самом деле, не могло же их не быть, червонцев-то! Тетрадочку пролистал и откинул. В печку бы бросить, так нет, бес попутал – осталась.

А когда переезжал с Почтового съезда (с год назад было) – нашёл тот самый дневник в одной из коробок своего скарба. Прочёл, что прочтению поддалось – даже неразборчиво написано, да и чернила потускнели очень – и с тех пор не могу отвязаться от этого негодяя.

Простите, но он меня измучил, Мороков этот. Знаете, сил нет. Он не кажется мне интересным и достойным восхищения – напротив: сразу пришёл вывод, что дневник писал ничтожный, пошлый и неприкрытый в своём безобразии тип. Не сомневаюсь почти, таким он и был. И наглец этот теперь требует моего внимания, настойчиво так теребит, как капризный малыш мамку в Детском мире. За что мне такая радость выпала?

Трудно контролировать мнения о нём: непостоянны, как летняя погода. Как невозможно понять многоликое его время – двадцатые, кровавые и святые, развратные и аскетичные времена. Поди его пойми, время-то прошедшее, когда в современности ни в зуб ногой.

Ну а Мороков... С ним тоже не проще, хотя, казалось бы, чего сложного. Вот мне представляется, что Мороков тонкий и ранимый, и я пишу: «...в один из чёрно-белых (местами – красных) вечеров, он почувствовал смерть, сжал раскаленное сердце, Данко поволжский, в обожжённых ладонях, забрался на чердак дома на Почтовом съезде и опочил, притворившись тонкой тетрадью». Уже в следующее мгновение я говорю себе: «Ну чего наворотил? Переписывай». Рву либо комкаю – бумаги извёл уйму.

Заснувший на чердаке дневник есть единственная рамка личности Мирона Морокова под моим пунктирным взглядом больного конъюнктивитом. И тетрадь слишком тонка, чтобы целиком узреть человека, жившего сто лет назад. Попробуй-ка воскресить бабушку или прадеда по одному или нескольким письмам. Один туман получится. Ладно если фотография имеется, тогда туман займёт некую форму, войдёт в контуры, и вы робко спросите: «Бабушка?» или там «Дед, ты?» В ответ тишина, скорее всего, но мало ли...

И ещё терзаюсь: как записи Морокова попали под прялку моей неродной бабки? Одному Богу известно, но Его не разговоришь за бутылкой водки.

*

Все биографы наивны, как дети. Они думают, что жившие сто лет назад были предметами незамысловатыми, как удочка из бамбука. Человека же современного без сомнений считают механизмом сложным, вроде адронного коллайдера или чего там ещё навывдумывали. С чего бы такая эволюция? Удочка-то изменилась с тех пор, а человек?

Ещё биографы убеждены (спорить с ними не моги), что все живущие принадлежат своему времени, как мясо колбасе (или что там сейчас принято в кишку заталкивать). Я не менее наивный, но убеждён в другом: современность окружает нас, как РККА шестую армию. Морозит, также обстреливает и не щадит. И дальше аналогия: нас тоже берут в плен, сбивают штыками в плотные нестроевые кучи и показывают по телевидению рожи наши худые и ладони с третьей степенью обморожения. И поднимаем мы эти ладони над головой так, будто изображаем зайцев на утреннике. Улыбаемся, а как иначе.

*

Ночью на мосту никого, то неудивительно. Лишь однажды встретил я тут человека – сразу захотелось знакомиться. Он рядом с перилами стоял, положи левую руку на железо. Голова его была вздёрнута вверх, будто от сильного удара по лицу, рот открыт, как у галчонка – человек совсем не двигался. Я долго рассматривал незнакомца, пытался спросить что-то, щёлкал ему возле носа – без реакций. Поднялся на носках и заглянул ему в глаза. Глаза те обращались к мутному тёмно-серому небу с важными, очевидно, вопросами. Надо уходить – решил я, потому что осенило: парню хорошо, он может в нирване или где там абсолютная свобода

обитают, а я тут с глупостями. Река тянулась влево, как долгий чёрный слизень, и парень этот на мосту под этим безнадежным небом в одиночестве... «Понял, понял», – зашептал я, внимая тайне, и попятился. «Исфиниите», – и прочь быстро пошёл.

Если встретите такого, прошу, не трогайте, не выдёргивайте незнакомца из его родимого «хорошо», не лезьте не в своё дело. Обворуете ведь его, скорую вызвав. Я знаю, вам бы только вызвать кого. Поймите, такие видят смысл в контрасте, и когда заря загорится на небе, человеку на мосту, точно говорю, с хрустом наступит на пальцы ног его «плохо»; если же «разбудите», то «плохо» придёт тотчас с пробуждением. Для таких людей есть только «хорошо» и «плохо». В чистом виде, без примесей.

*

Машин всё меньше, и каждая хочет меня подвести – жмутся к тротуару, по которому шагаю. Луна, начищенный медный таз, катится за мной. Когда я поворачиваюсь к ней лицом и стягиваю капюшон с макушки, таз останавливается – делает вид, что ко всему равнодушен. Иду – Луна следит. Сегодня она уверенней: сбросила с глаз чёлку грязных облаков и не прячется за углами зданий.

Прохожие – редкость. Тем интереснее думать о том, что привело их на проспект в такую пору. Клянусь, все тут не случайно, клянусь, все они непростые люди! Одни часто попадаются мне на пути, и чуть заметно, будто боятся меня рассекретить, хитро подмигивают при встрече. Отвечаю. Другие спрашивают сигарету, хотя знают, что не курю.

Звуки громки, и я извиняюсь перед ночью за шум от меня. Мелодия домофона, шарканье шагов на неосвещённой лестнице, скрежет ключа в скважине дряхлой двери съёмной моей квартиры. Здесь, за порогом, проще: обидчивая ночь осталась снаружи. Тут лишь стол и бумага. И мысль одного человека, наполняющая мою голову: «Что начинается гневом, кончается стыдом».

1

[– Мария! Ма-арр-ийааа!

Клянусь, так надрывно и безнадежно могут призывать только Богоматерь.

Мария! – кричит Мирон не мать Божью, а сестрицу свою, и глаза льют на гимнастёрку июльский дождь. И нос его теперь не знает и не хочет высоты и гордости. И уши его не желают пенья птиц и шороха лесов. И кулаки стучат в деревянное: гулко, как весло о лодку. А деревянного вокруг хватает.

Мария – душа – утопла в Сундовике-реке, что гнётся подковой за большим селом Кириково. Малая, вертлявая да худая речушка, но кто ищет глубин – найдёт и в ручье. Братец Марии, Мирон, ушедши лета два тому на германскую, ныне явился. По всему видно: убёг с фронтов дезертиром. Придя, брат не нашёл сестру живой. Дороже не знал человека Мирон. Отныне ж не будет для него горше вести, чем весть о Марии.

Месяц июнь – жаркий месяц, спору нет, но застудил Мирон сердце первым глотком мирной жизни.

Наган-то у Мирона не такой слезливый. Он сухой и морозит хозяйский живот сталью своего тела. Револьвер верен горю хозяина и без жалости выгонит из себя весь свинец во имя тоски по Марии. Невзирая на то, что он, наган чекиста Морокова, не знал Марию, не ведаёт, кто она для Мирона, никогда не встречался с этой женщиной и даже не следил за ней из-за угла, хоть и случалось такое относительно многих.

*

Мирон искал причины и смыслы. Жаждал слов тяжёлых, как удары в скулу в боях кулачных, что каждую зиму случаются на льду Сундовика. Но молчало всё вокруг, к чему обращал он свой жестокий взор. Не раз спрашивал мать, в ответ лишь сухое слово попадьи: «Богу угодно лучших брать до срока». Сестрицу старшую, Марфу, мучил, сжав узкие её плечи жёсткими ладонями – душу вытрясал. Плачет, воет, аж сечет визгом уши, а не слова – видно, зареклась молчать пред кем-то. Отца допрашивал, как ревтриб офицера – чуть до драки не дошло. «Не суйся, – говорит, – сам разберусь, когда утихнет».

Не может Мирон ждать, пока тишина и шёпоты превратятся в спокойные разговоры о минувшем и вопли о потерянном и спасённом. Нет у него сил на терпение. Деревню прошёл аршинными шагами вдоль-поперёк. Всех поспрошал, каждого настрашал, а где не хватало сладу, доставал наган и размахивал им почём зря. Старухи охают, бегут пугливыми курицами – мол, ничего не знаем:

«Ирод треклятый, еще оружией трясет, охальник срамной!»

И Мирон не замечает ни знакомых, ни близких – будто не жил тут сызмальства, будто не вытапывал здешние проулки босыми пятками. Все, все до единого, нынче чужие, хуже немчуры да офицеров, потому как Марию не уберегли. А батя – тот первый виновник.

Старики на селе просят табаку, а про сестру опять – не знаем ничего. По всему выходит: кто крест, кто кукиш за спиной притаил – вот он каков, вывод Мирона, потому как сейчас ничего кроме гнева в душу скорбящего брата не уместить.

Напился Мирон допьяна, лёг в скирду за огородами и тревожно заснул. Диво: к стрельбе да залпам привыкший сон от шёпота соскочил без следа. Говорили, кажись, у дороги. Вынул голову из сена, только увидел луну в грязных клочьях подвижных облаков, остальное тьма, как ни тарашься. Шепчут промеж себя двое:

- Лёска, откель прёшься?
- Не от твоей, не бось.
- Да ты, видать, сам перетрухал! С ружём на свиданки ходишь.
- Время, Онисим, уж больно тревожное: еби, а, знай, поглядывай.
- Да, да... Мирон, бают, возвратился.
- А что мне за дело?
- Встренишься с ним, поди спознаешь дело. Бают, комиссар он теперьча.
- Комиссар... Подумаешь. Ну кто про меня скажет, кто посмеет? Уж не ты ли, Онисим?
- Не болтай, чего не следует! Мне дела нет. А только шила не утаишь...

Ринулся Мирон из скирды, да ноги не держат – рухнул. Заревел он страшно, будто шатун, в темень перед собой. Во след убегающим, мягко топающим по траве, ногам. Оттуда, навстречу миронову крику, треснул перепуганный выстрел – дело обычное для села, стрелять ныне не стесняются. Мирон оттого протрезвился даже. Достал наган и спьяну патрон пожёт, зазря: в непроглядную ночь.

*

Наутро Мирон уж всё знал, что хотел. Кто сгубил Марию и за какую цену. Оказалось, недорого: за похоть грязную худого человека – Саньки Лягушинского. Паскуда он, мелкий вор и битый бабник. Помнил Мирон: пацаном был, мужики ловили Лёску в лугах, куда тот сбегал, и мордовали ногами, катали по траве. Суконную его рубаху зеленили, кровавили, покуда сознание из Саньки вон не выходило. Был срамник ненамного старше Мирона.

Говорят, он теперь на селе не последний человек. Со злой усмешкой говорят. Дружок самого Петра – старшего из залётных молодчиков. Банда, значит. Объявились тут с месяц. Чёрт знает, каким поганым ветром нанесло их, окаянных. Так зовут атамана: «Пётр» – не смягчая, то значит: бояться. Из донцов он, говорят. И будто от рождения был слеп и недавно только прозрел – когда война по стране шрапнелью выстрелила. И будто пуля Петра не берёт: кони гибнут под ним табунами, сам же цел остаётся – расстрел ему нипочём. Да разное болтают – всему ли верить?

Верить тому, что видишь. А видно что? С полсотни лютых с наганами да обрезами, под каждым конь – вихри враждебные и есть. Вот он, страх людской, в руке Петра: казаки и беглые солдаты неведомой народности, люди ничему не верящие, грабящие, ежели дозволяют, творящие своё, покуда власть не выглянет, не оскалится остро и горячо. Они – пальцы, сжатые в кулаке атамана. Захочет – разожмёт: рассыплются лихие по селу, нарубят голов свистящими пашками, девок перепортят, что покуда целыми сидят.

А пожелает иное, уведёт своих в другой уезд – на девственную потеху. Этому на тысячу вёрст в любую сторону чужбина: не терпкие степи да мазанные белым хаты, а чащи-непролазы и серые, в тени берёз, избы. Чужой он человек. Хоть и русский, а смотрит волком. «Кацапы, мать-перемать» – после каждого слова про нас.

Живут эти охальники не в селе. Чуть поодаль от гумна встали лагерем. Душегубы кровушки пролили, сколько в реке Сундовик воды нет, а трухают в избах ночевать: мужик с топором нынче не расстаётся – за кушаком у каждого энтот «струмент» торчит надёжно, обухом вверх. Никакими угрозами не отымешь у крестьянина единственного его оружия. Нынче прижалась к земле деревня, насупилась и смотрит робко, а порой, в отчаянии, решительно, из-за мутных окон. Каждый нонче настороже, каждый вытянул жилы на всю длину, хрустит позвонками и ожидает. Чего? Да жизни, которая хучь немного слаще этой.

Это у чекистов есть оборона помимо топора. И наган Мирона снова в руке хозяина: крепко сидит между большим и указательным в седле мозоли...]

Глава 2. Гордыня

Вот предо мной она, русалка. Выскользнула из денежного моря, испачкала офисный стул слизью. Не наша, речная криница, – чужая мне тварь. Хитра, как чёрт. Такие не хоронятся от людей, напротив, живут в миру и пролезают сквозь плотные толпы вперёд, за счёт обтекаемой формы.

– Расскажите, пожалуйста, о себе, – она чуть помахивает роскошным хвостом, слегка касаясь моих ботинок, притаившихся под столом. Чегой-то вы притихли, ботинки? Только ведь смело громыхали по лестнице. Нечисти боитесь? Понимаю, мне тоже не по себе.

Отвечая на вопрос русалки, укладываюсь в две минуты. Пара слов – вся жизнь: от мук мамы до издевательств этой рыбины. «Родился... учился...» Руки мои влажные стыдливо прячу.

– Что так коротко и скудно?

– Да уж, не Лев Толстой. Жизнь не фонтан: не бьёт разнообразием. Бьёт, правда, кое-чем другим, но это нехороший какой-то фонтан получается.

– Вы пришли в рекламное агентство, так? Работать хотите у нас, верно? Мы продаём, так и вы продавайте. Я говорю, себя продавайте! Может куплю.

– Сколько дадите? На рынке рабов белые давно не дефицит, потому много не жду, – горячусь отчего-то.

– Вы зачем пришли к нам? – плавничок гневно лёг на стол.

Ботинки моим стало весело: к чёрту нечисть, разошлись в стороны, как корабли от пристани.

– А у вас мясо под чешуёй красное или белое? И когда нерест? – хотел спросить, когда вошёл. Спросил – она не ответила, должно, рассердилась. Ну и ладно, ушел.

Наши, речные и озёрные, русалки – милые подруги. Грустные, горьковатые на вкус девственницы и блудницы. Когда уж совсем невмочь от тоски, мы идём к ним в прохладные объятия. На расстоянии руки тела их пахнут свежепойманным карпом, но, приблизив своё тепло к влажной прохладе, мы радостно и жадно вкушаем парное молоко их дыхания, трогаем рукой, что не следует. Водяницы в ответ обвивают нас в три кольца за ноги, концы их хвостов пушатся, как перья – это они волнуются. Мы долго к тому привыкали. Целуем скользкие чешуйки. Особенно приятны те нежные – на животе, в месте градации рыбы и женщины.

Вдали от воды хвосты их обращаются ножками: круглые пяточки, не знавшие дорог, кожа – шёлк, избежавший солнца. Мы любим тоскливых наших подруг до тех пор, пока страсть не сожжёт истому, потом забываемся. До новой тоски.

Та, которую я повстречал сегодня, не из их числа. Чужие русалки. Хвосты их совсем не пышные, а аккуратно остриженные по глупой гламурной форме. Такие не любят, хоть и умеют много чего.

*

Господин Домовинов, спасибо за счастливую молодость. Штампом в трудовой книжке вручил мне в руки газету «Ищу работу». Зря я уповал на юмор начальника – забыл: чувство это у Велимира Ионыча атрофировано с пометкой «невыгодно». Нынче я в поисках денег: уж

не до больших – а чтоб не сдохнуть. Нынче я в поисках места, где за малые потуги эти самые деньги – маленькие, но гордые – регулярно будут мне бросать. Как кость псу.

*

Эх, прости меня, Господи, не любишь Ты собак, что ни говори. Мы всё видим, без участия, конечно, но всё же примечаем страдание тварей Твоих. В старости собаки безмерно несчастны, а лапы их неизменно отнимаются и не на чем добраться до ближней помойки. Стариками человеческие тоже несчастны, но некоторые из их такого наворотили в жизни, что может и справедливо, что страдают. Хотя, говорят ты всё простить способен, правда или врут? Господи, но почему присматриваешь за собаками через человеческое посредство? Пропадает же беспризорное племя!

Сегодня в нашем подъезде умер пёс, старый блохастый друг. Лаял на всех во дворе, на меня – нет. Так мы и подружились. Я частенько подкармливал пса и пускал погреть старые кости в подъезд. Он, еле двигая ногами, провожал меня до остановки, и всем псам в округе рассказал, что мы друзья. Издох, под утро, должно быть.

Пёс всегда ночевал на ступенях. Сегодня я перешагнул через него, обернулся и понял. Вернулся в квартиру, надел затёртый армейский свой китель, взял пса, лёгкого без отлетевшей собачей души, а потом долго ковырял почву за сараем неудобным ржавым прутом. Земля тебе пухом, преданная мохнатая морда.

*

Так, работа... Что мы умеем? Венки я плёл великолепно, на грани искусства. Мои веночки стоят по всем кладбищам города, прислонённые к монохромным гранитовым лицам, как самое дорогое, что может появиться у души после смерти. А вот торговать не умею. А чего умею-то? От Бога в награду мне графомания. Хвастать нечем, потому как трудно её излечить или, как-то преобразовав, сделать профессией. Хотя, у некоторых получается, иначе, откуда бы взяли великие писатели, наши кумиры – люди, поднявшие своё радужное безделье высоко над головой, как стяг. Продавай себя, – сказала русалка, и я задумался.

*

После похорон собаки, я снял китель, надел новые брюки, чтобы пойти на капище рекламной богини красивым жертвенным бычком. Щёлкнув замком съёмной квартиры (формальная процедура: дверь гостеприимно отворяется наотмашь от лёгкого удара коленом), вышел. На улице же – не успел и осмотреться – за правую штанину меня схватил пинчер. Карликовый, злой от непонимания того, зачем он такой: смешной да короткий. Пёс будто долго ждал меня, и брючину рвал с удовольствием, как свежую свинину. Я рефлексом пнул – жалкий паразит откатился к стене и взвизгнул.

– Сука, – без зла произнёс я и оказался прав. Из-за угла вышла дамочка. Продолжительные ноги в лосинах, туфли на высоченных шпильках – женщина-циркуль: Джесси, где ты, милая?

Я, не думая о приметах, второй раз вернулся домой, заклеил штанину изнутри скотчем – и на собеседование. Ветер раздувал шикарные мои, пинчером обновлённые брюки, ворошил полчаса чёсанные на пробор волосы – двигал мои шансы на собеседовании ближе к нулю. А дальше вы знаете.

После кошмарного дня пришёл в квартиру (язык не повернётся домом назвать) растерянный, но решительный – точь-в-точь Раскольников. Стремительно нажарил яичницы с полуживыми помидорами, отчаянно посолил, лихо так отмахнул горбушку от буханки чёрного – как Григорий Мелехов головы многих своих разноцветных врагов – и сел писать роман. Так, сдуру.

2

[...наган Мирона снова в руке хозяина: крепко сидит между большим и указательным в седле мозоли. Верно говорят: пуля – дура, а про штык – врут.

И вот эти самые дуры чавкают в берег реки, схоронившей Марию. И стрелок считает: раз-два-три – скрипит резцами, ругает себя за расточительность. Два дня искал Мирон Лёску – нашёл на третий.

– Стой, Лёска, не ёрзай!

Пот покрыл лицо Мирона. Стоит он на холме, подставив макушку под полуденное солнце, и тратит патроны на Саньку. Не удалось подстрелить гада в селе...

Санька перемахнул огороды, пробежал полем, слетел, будто архангел, с холма, приземлился на чёрствы́е пятки, и теперь несётся к реке, как ненапомятый жеребец. Мирон целится: глаза жжёт пот, а козырёк выцветшей офицерской фуражки не даёт тени. Выстрел – промах. Барабан нагана завершает круг.

Лёска царапает ступни о края засохших коровьих следов. Надеть не успел сапоги, ладно портки напялил на кривые свои ноги – так бежал от Мирона. Ноги беглеца в крови – выжженная на солнышке глина, словно черепки разбитой кринки: кромки острые живо кожу от мяса отделят, если бежишь босой без оглядки. Лежал бы снег – прошёл бы Сашка-баловник красными следами, охладил бы раны. Но какой снег – жара. Сашка бежал, потому как лучше совсем без ног, но среди живых остаться.

Смотри, вот уж кинулся в реку, плывёт в прохладе воды, тянет хилое тело течением в сторону. Теперь точно спасён: утонуть себе не даст – энтот клоп живучий, а пули револьвера вреда уж не сделают.

С холма видно мокрую его фигуру – словно чучело в оборону от ворон в саду попа Сергея. Мирон скрипит зубами, всё выцеливает, но стрелять более не станет – знает: впустую.

Постоял на том берегу Лёска, посмотрел озорно сквозь сомкнутые ресницы, и теперь, не торопясь, бредёт к лесу. Стекает с рубахи на сухую землю вода.

– С-сука, – шипит Мирон и кулак кусает. А со стороны пасеки уж топот коней. Пегие четыре жеребца несут на себе мужиков голые торсы. Вверх торчат карабины и трёхлинейки, ровно пики рыцарей. Не рыцари то – голытьба казацкая, кои казаками на Дону назваться не смели, у кого в хозяйстве мыши с голоду вешались. А тут, поглядите! Гордые воители. Волюшки да кровушки мужичьей хватанули, захмелев оттого.

Мирон не побежал: трёхлинейка не наган – догонит и за рекой. Быстро бросил он револьвер с обрыва в прибрежные кусты, запомнил, где шевельнулись ветки.

Скачут кони по сухой земле, гулко стучат копыта, взрывая пыль на дороге, и контуры всадников дрожат в солнечном мареве. Жара... Страх хватает Морокова за глотку грубой рукой, потому как чекистов ныне стреляют, не спрашивая фамилий. Но стоит спокойно Мирон, во фронт, и фуражку сдвигает к носу...

Молодой пегий жеребец толкает в козырёк Мирона мягкой мордой. Фыркает, показывая ровные, как клавиши аккордеона, зубы – цыган не придерется. Дышит горячо и норовит лизнуть языком-рашпилем. На жеребце красиво сидит казак: фуражка – синий околыш – на кожаной макушке и усы по-донскому вразлёт, шаровары, скатанные по колено босых ног. Остальные всадники – в солдатских фуражках, штанах, без рубах, с заросшими, редко бритыми мордами, один, что пониже всех – с бородой-клевером. Казак также без рубахи: жилистое, свободное от волос тело блестит, будто маслом намазанное. Ногу перекинул, свесил обе по правую сторону откормленного жеребьячьего живота.

– Ты тут воюешь? – спрашивает он с ленцой, в усы, будто не нёсся во весь опор на выстрелы, а ехал мимо, посмотреть как струится на перекатах река. Смотрит казак в сторону опушки, туда, где недавно Санька, мокрый таракан, выползал на берег. Там не успела ещё просохнуть глина, там лужица, натёкшая с длинной рубахи беглеца.

– Да мне не из чего, мужики, воевать-то. Стреляли, тоже слышал, но не видал кто да откуда, вот те крест. Да и смотреть не думал: пуля чай не мать родна.

– Не из чего, гутаришь? – говорит казак, чуть заметно кивая своим. Бородатый выпрыгивает из седла и идёт к Мирону для обыска. Чекист доверительно поднимает руки, и через мгновенье складывается, как брошенная тряпичная кукла, в малую траву – безбородый объехал чекиста на коне, коротко ударил в шею прикладом. Мягкое тело Мирона медленно, почти нежно, укладывают поперёк коня, фуражка шлёпает в жёлтую жирную пыль.

Всадники тихо потянулись в сторону лагеря, не торопя коней. Казачий жеребец виляет крупом, точно барышня. Безбородый, сваливший чекиста, пешком ведёт нагруженного коня под уздцы. Руки Мирона пропускают меж пальцев пыльную траву, а бессознательная голова толкает носом бочковатое конское брюхо.

Бородатый задержался и обшарил наскоро берег реки под кручей: скатился по песку к берегу, прошуршал кустами, припал к воде, напился. Не найдя нагана, быстро по-обезьяньи забрался на холм, нагнал убредшего в сторону коня, ловко подкинул себя в седло. Резво стеганув в лошадиные пахи каблуками новых сапог, понесся по полю, поднимая пыль.

Бойтся, видно, кражи, потому не оставляет обувь в лагере, оттого не снял и в жару.

Фуражка чекиста так и осталась лежать на дороге. Овал более тёмного сукна на месте ненужной кокарды свежо зеленел. Наган же погрузился в воду и закопался в бархатный ил у берега. Любопытные пескари тыкают в шершавую рукоятку свои гладкие, бликующие губы...]

*

Что это такое, «журналист»? Мне объяснили.

Заёрзал на столе мобильник: на звонке там что-то забыто-банальное. Не «Бумер», но в том ключе.

– Слушаю.

– Путимиров Невзор? – девичий голос, остренький, как очинённый карандаш.

– Кажется, он. – мой: утренний, хриплый и неразмятый.

– Вы откликнулись на вакансию «журналист»?

– Эээ...

– Так вот представьте. Карповский мост, ночь, гололёд, авария, лобовое столкновение, две иномарки, погибли четверо – каша с мясом, редактор даёт задание разузнать об одном; вы же не знаете адреса, имени, социального статуса, состава семьи, межличностных отношений с соседом, женой, свидетелей ДТП – как отстреляли – никого? Что делать будете?

– Сдаюсь.

– Нет, подождите. Вот вы пришли в полицию, чудом проскочили в кабинет к самому главному, говорите, мол, необходимы подробности такого-то ДТП, а он вам, извините, плюёт в лицо, вы увернулись, но, тем не менее: ответа нет, спрашиваете ещё, а полицейский начальник ваши карты кроет заготовленным штампиком, словно козырем: «материалы дела предоставляются представителям прессы только по официальному запросу», и шлёт вас уже культурненько, согласно законной букве.

– Девушка, не трудитесь, я в вас влюбился ещё с первого предложения.

Вечером мы сидели в кафе. Она оказалась настоящим журналистом – я им стать не мог: у меня язык неподходящей формы. Она болтала без умолку, мне это пока нравилось. Кафе то было по-домашнему уютным, но дорогим очень – оттого чувствовать себя как дома я не решался. Скажу честно, не ходите туда, особенно с девушкой: после такого вот вечерка придётся вам ту же некуда затянуть пояс. Нет, если вы сын владельца этого ресторана, тогда, конечно, ходите, сколько папа разрешит.

Стены там обклеены обоями под старину, вместо стульев – клетчатые диваны. На стенах тарелочки «Гжель» и монохромные фото начала прошлого века: большие семьи, скромные солдатики по одному и десятками, неизменно одинокие позёры офицеры в позе «Лермонтов на Кавказе».

Выпив красного пива, я осмелел: неприлично развалился на диване и начал панорамный осмотр помещения справа налево. Небрежно слушал новую знакомую, пропускал пышные её обороты. Она всё говорила, говорила, не глядя на меня, а потом вдруг умолкла – я аж пивом подавился, посмотрел на неё – и предложила «сбежать».

Ох уж эти развратницы: мудрые, молоденькие, наивные и романтичные. Говорят о разложении морального облика, о социальной журналистике, которая призвана восстановить мораль, наоткрывать на каждом шагу институтов благородных девиц и учредить благотворительную акцию в помощь пострадавшим от сифилиса «Белые орхидеи». Говорят, говорят, а между тем «сбежать» для них самое желанное. Вот скажите, как в этих маленьких головках уживается столько враждующих тараканчиков?

*

Уже второе утро мы у меня и просыпаемся позже положенного. Второе утро лают собаки у соседей слева, в квартире над нами рычит перфоратор, и мне страшно, что упадёт люстра.

Журналисточка, как вчера, вскакивает, срывая с нас одеяло, прыгает на одной ноге, напяливая джинсы, немного гремит посудой на кухне, затем уносится куда-то там в редакцию, к чёрту на рога. Я, замерзая, лениво натягиваю на себя покрывало левой рукой, правую, как обычно, свело. Через пару секунд слышу нещадный хлопок моей бедной двери. Отвалится, и что тогда делать? Провозглашать коммунизм и кормить свободно разгуливающих по квартире кошек и бомжей? «Аккуратней, милая», – думаю, зевая. А через минуту журналистка возвращается – забыла поцеловать. Славно-славно. Потом исчезает с той же скоростью, образуя в квартире ветер.

Я медленно встаю, не заправляя постели, и накидываю аргентинский халат со сценой петушиных боёв во всю спину – кто подарил, не помню. Запускаю затёртый аудиодиск (непрерывно, на громкости 16) с треками славянской музыки и в волнах грустной флейты заплываю на кухню. Тихая гавань: аккуратный крепкий причал – дубовый стол с резными ножками и стулья, маленькие копии старшего в гарнитуре. Меня можно назвать неряхой, но заглянешь на кухню – извинишься. Тут всегда порядок. Потому как кухня есть капище, а я при нём – волхв.

Знаете, трепещу всякий раз, когда готовлю кофе. Кажется, это самое доброе из дел. Любви в нём немерено, просто некуда девать! Но так восклицают лишь кофейные жрецы, чайные, зуб даю, считают иначе.

Ритуал, обряд, церемония – без них мы чувствуем себя неловко, будто стоим на людной мостовой без штанов. Любой, в кого не ткни, заводит себе маленький, но свой обрядик. Милое сердцу язычество. Ты живо! Ты сочишься по нашим венам вересковым соком, с тобой весь год весна. Даже если на улице плюёт нам в лица мерзкий пограничный ноябрь, в душах апрель.

И в каждом доме по волхву и идолу. Знай, вечером за каждым горящим окном сидит жрец, от него недалеко – предмет обряда. Будь то суп в белой кастрюле, просмотр фильма, чистка картофеля, скандал с женой, плановая порка детей или сказки на ночь, чистка зубов или супружеский долг, пусть даже вне графика. Каждая спальня, кухня, ванна, ну и туалет, конечно, – капище, храм. Знай и шагай аккуратней, когда ты в гостях. А то наступишь на святыню, загремишь какими-нибудь священными побрякушками и схлопочешь от волхва по морде. Или от жены его-ной.

3

[Кто обидел кузнеца Фёдора? Да всё те же.

Санька у пруда схватил жену кузнеца – Тосю – за мягкие полные груди, когда та полоскала бельё. Надо сказать, Тося божественно водит крутыми бёдрами при этом занятии. Мимо не пройти. И от мостика, когда она его волнует ногами, полоща длинные простыни, всегда идут молочные клубы по воде, в то время как над тугой спиной Тоси, в облаке сладкого её запаха, жужжат жирные слепни. Понять Саньку не трудно: груди те, два нежных вымени, прямо таки призывают к себе руки и рты, будто Тося – праматерь всех человек. Кузнец знал то не понаслышке и мог бы войти в положение, но по привычке поймал Сашку и бил кулаком наглуго эту морду. Не рассчитав своей кузнечной силы, свернул похабнику набок загнутый, непригодный к драке нос.

А на утро пришли ко двору Фёдора трое: битый Санька волочился за двумя казаками, шмыгал, болезненно кривясь, и тыкал, указывая, пальцем в сторону крепкого Фёдорова дома. Коваль увидел гостей ещё на подходе, потому как заглядывал в окна, ожидая жену от матери. Он, намереваясь встретить «друзей» хлеб-соль, сошёл с зыбких ступеней крыльца, не забыв, однако, в избе топора. Ему сходу, не спросив «здоров ли, хозяин», прострелили ноги повыше колена, а затем принялись бить, поднимая пыль выше голов.

Кузнец стремился встать и упрямо поднимал голову со всклокоченными волосами и серую, в пыли, бороду. Но казаки каждый раз толкали его сапогами в затылок, отчего лицо кузнеца, страшно смятое, сочилось кровью. Мелкие соломины, камушки и куриный помёт охотно прилипали к этому, красно-пыльному месиву.

Соседи-то видели из окон, как ворочали по дворовой сорной земле Федьку-кузнеца, но никто выходить не спешил. Только лица бледными бликами мелькали по окнам, движимые зудливым любопытством. Интересно и страшно. Мол, могут и к нам зайти, ежели вдруг вступимся, к тому же сосед человек нелюдимый и редко здороваётся... К тому же, плохо подковал моего коня в прошлый сев и много за то запросил.

Потом те трое, опьянённые кровью, желающие захмелеть ещё и грязной потехой, рыскали по дому: искали Тосю. Залили жаднующей слюной тканые половики в узких коридорах избы. Не нашли, и Санька недовольно да звонко цыкнул зубом, даже расстроившись.

Ушли. Тишина. Только клубится над бесчувственным Фёдором вздыбленная пыль, да куры крадутся по двору и клюют собственное дерьмо.

Фёдора выходила, оживила вернувшаяся от матери жена. Лежит теперь он, не встаёт, как Илья на печи. Но не дай Бог оказаться Саньке близко, на длину узловатых, как корни деревьев, рук кузнеца.]

*

Выпил кофе, плюхнулся на взорванную постель. Хорошо. Прохладно от простыней. Тянет утопиться во сне, нырнуть в самую его глубь с зажмуренными глазами. Тянет смотреть на русалок, бьющих хвостами на берегу тихого лесного озера, зацелованного ими до смерти.

И чтобы нас с русалками непременно окутала ночь, та самая, что ступает на Иванов день босыми пятками.

*

Выхожу в ноябрь, утираюсь от его плевков. Тут жуют ранний снег жуки-маршрутки. Проглотить бедолага пёс, стремиться в друзья. Ну нечего тебе дать, милая скотинка! Бегают дети – всегда бегают; пусть, лишь бы в канализационные люки не падали, а то человек из них не выйдет. В баки с мусором засунуты головы людей – это уж совсем обыкновенно, скучно даже. Один из них отвлекается от контейнера и глотает остатки своей жизни, элегантно поворачивая пивную бутылку за горлышко.

Вот плюй в разные стороны, а попадёшь всегда в серость обычную. Ну как перевод с латыни: серость обыкновенная, подвиды...

К чему я?.. Ах да, плохо, говорю, на улице. Ни холодно ни тепло – оттого потливо и неуютно. И кусочки киселя падают с неба. Ну откуда, скажите, там кисель!? Знаете, эту осень я не расцелую в сопливую морду.

4

[Бабка Рахиль из Кирикова-села не торопится. Года считает – словно листает страницы, и уж два века промелькнули мимо неё, третий вокруг кружит, а ей все нипочем. Сто тридцать лет ей отроду, и пробудет она на свете сколько захочет.

Родилась Рахиль далече отсюда: в непролазных Заволжских лесах, в коих звери и люди живут соседями. Где-то возле желтых вод реки Керженец, в семье кондового старовера. Во времена её юности царёвым указом жгли скиты и прогоняли раскольников из обителей по всему Заволжью. Тогда и переселились Моховы с клюквенных болот на наши озорные взгорки, замелькали по нашим улицам длинные мочалки бород нелюдимых мужиков-староверов. Эти пришли со многими телегами своего хозяйства, с лошадьми да скотиной – по нашим местам богатеями, считай, пришли. Но безпоповцы с табашниками не сокупаются, даже если грозит им смерть рода, и уж теперь от большой семьи, от корня древнего, никого не осталось, кроме той, о ком речь. Вот и всё, что люди говорят про старуху по имени Рахиль, остальное – шепчут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.